

Старый фельдфебель.

I.

Н а к а н у н е .

Сергея Токмакова у нас знали все. Высокий, худой, крепкий, не смотря на свои 65 лет, он щеголял еще старою выправкою. Со своими щетинистыми бровями, из-под которых смотрели зоркие молодые глаза, со встопорщенными усами, дававшими нашим шутникам повод рассказывать, что он прижал губою к носу седую мышь, да так с нею и ходит всю жизнь, старый фельдфебель с первой встречи отпечатывался в вашей памяти.

Уж очень характерна была эта фигура: всегда застегнутый до-верху, с тремя георгиевскими крестами на груди и медалями за войны, в которых Сергей Токмаков участвовал.

Он уже давно был в отставке, но неизменно следовал за полком, где некогда служил. Стояли мы в Орле, и Токмаков оказывался швейцаром в тамошней гимназии, ухитряясь быть свободным каждый праздник, чтобы неизбежно являться в полк; перевели нас в Брянск — прошел месяц, и вдруг перед ротным командиром Шерстобитовым как-то утром оказывается Сергей Токмаков.

— Честь имею явиться вашему благородию! — по форме рапортует он.

— Здравствуй!

— Здравия желаем...

— Как ты сюда попал? — изумляется Шерстобитов.

— Распрощался с гимназией... Ушел! — радостно улы-

бается старик, да так, что седой мыши, очевидно, грозит участь быть раздавленной.

— За полком?

— Точно так-с, ваше благородие, за полком.

— Что же ты здесь будешь делать?

— На пушечно-литейный завод поступил...

Особенностью Токмакова было то, что он всегда сам заботился о себе, не прибегая ни к чьему покровительству или содействию.

Перевели полк в Вильну. Ну, думаем, не увидим больше старика. Куда уж ему трогаться с насиженного места, тем более, что на заводе им дорожили и уважали его свыше меры. Он в Брянске даже домишко себе построил, выписал племянника и какую-то торговлю ему открыл. Помню, как-то собрались в офицерском клубе и помянули старика, точно мертвого... И что же? Дня через два был полковой праздник; глядим, Сергей Токмаков тут как тут, и даже к роте своей пристроился, на первом фланге её стал и усами шевелит, и глаза у него блестят, и лицо веселое-веселое.

— Сергей Ефимыч!.. Вы как сюда?.. Вот молодец-то!..

— Рад стараться!.. — рубит он, как умели отвечать только в его времена.

— А Брянск? — спрашивают его.

— Развязался... Вчистую! — таким тоном, точно ему этот литейный завод страшно надоел.

— Да ведь вы построились там, — недоумевает кто-то из молодых, еще не присмотревшихся к старику.

— Точно так... Только что же. Дом да лавку я племяннику в аренду сдал. Пушай его богатеет, с меня хватит.

— А сам за полком?..

— Мне, ваше благородие, без полка никак невозможно... Потому вся моя жизнь и вся семья тут...

И голос у него дрогнул, и на седые усы слеза даже капнула; но он быстро совладал с собой и уже строго оглянулся кругом. Терпеть не мог старик сентиментальничать.

Расцеловались с ним...

— Что же ты будешь в Вильне делать? — спрашивает его Шерстобитов.

— А уж я пристроился.

— Куда? Когда?..— слышалось кругом.

Токмаков опять, значить, сделал по-своему, „заявился“ в полк, приобретя уже себе прочное обеспечение, чтобы никому не быть в тягость.

— К театру, ваше благородие...

— В артисты, что ли? — засмеялась молодежь.

— Нет, — улыбается старик. — Мы публику в швейцарской принимаем... Для порядку, значить. Настоящее стариковское место. Стой себе у дверей и сторожи, чтобы всякому наш порядок был видим.

— Ну, и как на новом-то месте?

— Ничего, жить можно...

Жить можно ему, впрочем, оказывалось при всевозможных условиях. Сергей Токмаков находил, что жить можно и в деревне, где стояла его рота, и там он умел находить себе дело и быть полезным. „Жить можно“ было и в еврейских крохотных городишках, где на всякий мелкий труд открывалась сотня голодных ртов, и цены были сбиты до невозможности... Это „жить можно“ и строгое довольство всякою обстановкой, в которую попадал Токмаков, было его характерною чертой... Из Вильны он, бросив театр, с таким же легким сердцем перебрался в уездный городишко, где стояла наша рота, и через месяц уже ухитрился открыть там какую-то торговлишку. Его у нас знали все; и молодые офицеры, заглазно подшучивая над стариком, не только любили его, но в трудных обстоятельствах ходили к нему за советом... У Сергея Токмакова водились денюжки, и, разумеется, было бы таких еще больше, если бы он уже не слишком близко принимал к сердцу интересы „своей роты“. Бывало, обносится какой-нибудь разгильдяй-подпоручик, а смотр на носу. Мундир побледнел по швам, на локтях лысины, колени даже посветлели... Кажется, — мат офицеру, достать неоткуда, в долг тоже никто не верит; как вдруг является, откуда ни возьмись, Сергей Токмаков с евреем-портным.

— К вашему благородию, — сурово докладывает он, глядя через голову забулдыги куда-нибудь в уголь.

— Что вам, Сергей Ефимыч?

— Не хорошо-с, к смотру да не в порядке быть...

Генерал-то, сами знаете, из немцев, он этого понять не может... Строгий. Дозвольте вот мерочку ему снять.

— Помилуй... Да я...

— Не беспокойтесь, ваше благородие... Все равно что свой... В моей роте, ведь... Уж дозвольте... Деньги получите, — отдадите или частями по месяцам. А то как же и к начальству являться? Всей роте ведь срам... Скажут — в первой стрелковой роте офицеры-то представились... не в порядке.

Старика не обманывал никто... Деньги ему возвращали, но он ухитрялся их опять тратить на роту. Молодых солдат он жалел по-своему. Проштрафится такой, потяряет казенную вещь, — беда, под суд идти нужно. Куда бедняге деваться? Разумеется, к Сергею Ефимычу. Тот вскипятится, иной раз, по старому обычаю, „в зубы ткнет" для *порядку*, а все-таки выручит из беды...

У него здесь завелось что-то в роде семьи... Умер женатый фельдфебель и оставил вдову с детьми. Токмаков привязался к ним, считал малышей тоже принадлежностью своей роты. — „Ишь, ротное имущество, — говорит он, бывало, — казенная вещь". Поселил их с собой, занялся ими... Обшил их, кормить стал... Содержал в строгости, потому что без строгости он и не понимал ничего. — „Молодое дерево, — говорил старик, — не подопреешь, расшатается. Первым ветром его свалить". Вдова — та даже трепетала его; уж очень сурово топорщились на нее седые брови Сергея Ефимыча. Он, впрочем, вообще к женщинам относился презрительно... — „Эй, ты, беспардонная команда! — зовет он ее, бывало. Ступай чай пить", — а сам уставится на нее и думает: „на кой прах Господь Бог бабу эту создал?... Кому от неё толк какой, ни в службу ее никуда, одно беспокойство... И Степаныч (покойник) умный человек был, солдат исправный, а поди какую глупость выкинул, с бабой спутался"... — И так качает головой при этом, что вдова загодя трепещет вся.. Вышколил он ее на славу... Увидит грязь на делях, — мать в ответе. Явится, бывало, домой неожиданно...

— Эй, пузыри, стройся!..

Дети уже знали; сейчас локоть к локтю и глаза на него пучат.

— Сейчас я вам инспекторский смотр. Ванюшка... ты какой роты?

Тот уже знает: вытянется.

— Первой гарнадерской!..

Токмаков, по старой памяти, называл свою роту так, как она при нем значилась еще.

— Молодца!.. Скидавай шинель.

Сбросит тот кафтанишко... Осмотрит старик рубаху, в исправности... чиста.

— Степка! Скидавай сапоги!..

Беда, бывало, — онучи грязны. Сейчас мать к ответу.

— Ты их должна в чистоте держать. Потому солдат Божий воин, не вам, длиннохвостым сорокам, чета. Ты думаешь, тебе на подоле грязь легко носить, так и ему тоже?

— Да какой же он еще солдат, Сергей Ефимыч?... — осмелится она, бывало.

— Ты у меня поговори! Пусть растет солдатом. Отец у него исправный воин был... И ему служить придется...

И так поведет на нее глазами, что у неё от страха под ложечкой защемить.

— Так ли еще тебя сторожить надо, — ворчит он.

А потом сядет на лавку, закурит трубку, соберет детишек кругом, и давай наставлять их, как всякий настоящий солдат вести себя должен, и как вообще следует жить в „аккурате“..

— Хотела я спросить у вас... — заговорила раз вдова.

— Ну, что еще? - хмурился тот.

— Тут ремесленное училище есть.

— Ну?

— Ванюшу бы... в лудильщики...

— Накладу я тебе, дуре, по шее!..

— Я, что же... я, как вам будет угодно... — растерялась она.

— Дура и есть... И на что вас Господь праведный создал... Точно плесень в сыром месте!

Плюнет и уйдет.

Ванюша его любимец, по понятиям старика, должен был чудесным солдатом выйти, а тут не угодно ли в лудильщики... И выдумает же!.. Раз он за такие глупости так распушил вдову, что та как ни запугана была, а обиделась.

— Что ж, Сергей Ефимыч, иль уж я не мать!..

— Мать!.. Что говорить!..

Осень 1877 года у нас стояла ужасная.

Целые дни шел дождь мелкий, надоедливый, не прекращающийся ни на минуту. Все кругом точно вымокло насквозь. Земля лежала бурою массой, влажными комьями; в самую глубь просочились болотины; дороги тянулись неоглядными полосами грязи, в которые вязли по ступицы телеги. Облетевшие деревья казались скелетами, поднявшимися из могил и беспомощно протягивавшими свои костлявые руки; дали скрывались в сероватой дымке густого тумана, в котором придорожные села чудились какими-то темными пятнами... На городских улицах сновали только юркие еврейчики. На далеком юге, там, за голубым, как его принято считать, Дунаем, дрались и умирали; а здесь мы точно были забыты целым светом... Каждая весть оттуда расшевеливала наш муравейник; даже страшное Плевненское побоище возбуждало в молодых офицерах чувство зависти. — „Неужели нас забыли? — спрашивали они. — Неужели наш полк не потребуется? Господи! сидеть тут и гнить в сырости, когда там братья и товарищи гибнут. Да что же это!“

Дни тянулись за днями скучно, однообразно. Мы оживали только с появлением газет, мысленно следя и за стоянками наших войск в Румынии, и за переправой через Дунай, и за боями под Систовым, Никополем, Плевной и Шипкой... Особенно последняя. Голова кружилась, когда воображение рисовало нам утонувшие в голубых небесах вершины Балканских гор, смелые взлеты и отвесы их, батареи, взобравшиеся на самое темя утесов, ложементы, в которых горсть наших героев обстреливалась от врага в пятьдесят раз большего...

Сергей Ефимович, упорно отказываясь сесть, стоял, обыкновенно, у двери и внимательно вслушивался. Для него это были знакомые места... „Знаем, — скажет, — бывали... Мы там стояли... Здорово мы тогда!“ — и только глаза разгорались у старого фельдфебеля, да усы еще более топорщились, и брови грозно хмурились, и он отмахивался рукой. Больше от него мы ничего добиться не могли.

— Скоро ли наш полк позовут? — спросил он как-то.

— Должно быть, совсем этого не будет.

— Как не бывать!.. Еще такой войны не случилось, чтобы без нас дело обошлось.

— Да это когда-то... А теперь вот приходится гнить здесь, в местечке этом... В грязи тонуть...

— А я вам доложу, ваше благородие, что нас берегут.

— На что?

— А на случай, когда наших выручить надо будет... Вот на что... Потому, это дело известное, хорошие полки везде в самый огонь посылают... Напоследок выручать! И в прошлую кампанию нас двинули в кашу.

И Шипкинские бои миновали, и все, еще неведомые нам, позиции на Лысой Горе и на св. Николае остались за нами... Набег турок на „Зеленое Древо" еще раз взволновал всех. Так и грезились нам на зеленых скалах ущелья, вдали исчезающие в ароматные рощи, турки и мо—лодецкие батальоны, идущие на выручку... И вдруг, откуда ни возьмись, как гром с ясного неба, разразилась надо всеми нами третья Плевна... Мы с трепетом душевным читали подробности о ней, о дивных подвигах героизма и самоотвержения, не осиливших неожиданно выросшие перед нашими войсками твердыни Осман-паши... Малодушия и трусости ни у кого не было. Напротив, в каждой душе рождались чувства мести, желание пойти помериться и отплатить врагу за его минутное кровавое торжество...

Я, помню, совершенно подавленный всем прочитанным, сидел у себя, у окна, бессознательно глядя на улицу, где моросил все тот же мелкий дождь, и стояла слякоть, в которой чуть не тонули бегавшие сегодня от одного дома к другому еврейчики, как вдруг дверь ко мне скрипнула. Я оглянулся.

— Здравствуйте, Сергей Ефимыч.

— Здравия желаем, ваше благородие.

Он почему-то смотрел весело и радостно, точно награду ему дали.

— Читали вы?..— с недоумением спрашиваю его.

— Как же с... „Под Плевенем"... Имею честь поздравить.

— С чем это?

— Теперь наша очередь пришла. С походом!

— Как так?

— Извольте увидеть... Не завтра, так на этой неделе наш полк позовут.

— Куда?

— На выручку, под эту самую „Плевень...”

— Ну, этого мы, кажется, не дождемся. Тут сгнием.

— Вы бы, ваше благородие, загодя изготовились. Объявят поход, — дня не дадут. А у вас, вон, теплых-то вещей нет!

И откуда он знал хозяйство каждого офицера нашей роты?!

Я только улыбнулся в ответ. Мое недоверие, кажется, обидело старика.

— Вы извольте в окно посмотреть...

— Ну, что же там? Грязь, дождь, сырость. И смотреть-то противно.

— Точно что, а как жидки тутошние зашевелились, изволили видеть?.. Ишь, бегают.

— Да! У них праздник или что случилось?.. Действительно, сегодня они рассовались во все стороны.

— Ну, так вот... что старая контузия погоду чувствует, то и еврей... Уж они там всюду шныряют... Тоже нюхом берут... Посмотрите, на сих днях и нас двинут... Я полкового командира встретил, ему говорю, а он: „Что ж, у меня, старик, все готово, хоть вечером... Генерал-марш забьют, сейчас же и выступим”.

Обедали мы у себя в офицерском клубе...

В конце, кажется, за жарким, вдруг входит взволнованный и возбужденный наш полковник и, не обращаясь ни к кому из нас, даже забыв ответить на наше приветствие, приказывает:

— Подайте нам дюжину шампанского.

„Что такое? — думаем. Отец-командир до сих пор и на собственных своих именинах беленьким бессарабским отделявался. Скупенек был, а тут вдруг этак распространяется”. Невдомек нам. Стоим мы, и он стоит, никому сесть не предлагает.

Принесли, разлили. Он прерывающимся голосом объявляет:

— Господа, поздравляю с походом, ура!..

Кажется, второй Иерихон мог бы развалиться от нашего восторженного крика. Мы до ночи не выходили из собрания... Старики, которые обзавелись семьями, были невеселы. Зато молодежь точно закипела вся... Каждому грезилась героические битвы, воскресали легенды, которые мы

заучивали еще на школьной скамье; мечталось о реляциях, на всю Россию оглашающих твое дотоле никому неизвестное имя. Рука невольно тянулась к груди пощупать, уж не висит ли на ней маленький крестик...

Вышли мы ночью, ноги тонули в грязи, вверху густелись тучи... А на душе было так светло и ясно, так верилось в счастье и победу, что хотелось петь, идти куда-то без конца навстречу таинственному, неизвестному, только не домой, в маленькие и тесные комнатки офицерских квартир...

Поход был объявлен через неделю. Все это время мы не видали Сергея Ефимовича. Как в воду канул наш старый фельдфебель. Так мы и объяснили: тяжело ему раздаться с полком, он и ушел от нас. Да и не до него было: у каждого набралось пропасть забот и хлопот. Многих поход заставлял неподготовленными. Почти у всех были долги, — наш брат-офицер часто живет на счет будущих благ. Следовало все это привести в порядок до выступления...

II.

В поход!

Я как теперь помню этот день.

Лил дождь с утра, точно в небе образовалась какая-то дыра, и нас именно поставили под нею. Внизу ноги тонули в слякоти, расползались в ней, так что трудно было удержаться. Туман стоял кругом густою, унылою пеленой. В нем тонуло все: и деревья обезлиствевших садов, и дома города, и колокольни его церквей... Какое-то отчаяние разливалось в воздухе. Наши шинели не спасали нас от пронизывающего насквозь холода. Тишина в хмурых и серых рядах солдат. Изредка слышалось только звяканье штыка о штык...

Ко мне подошел ротный командир, озабоченный и усталый.

— Ну, что, все дела кончили?

— Да... И дел-то было немного... А целую ночь пришлось провозиться.

— А где старик наш? Удивительно, Токмаков не пришел попрощаться... Жив ли он еще? Или заболел, пожалуй. В эту погоду не диво.

— Я целую неделю не видал его тоже. Ребята! — обернулся он к стоявшим вольно солдатам. — Не видал ли кто, где Токмаков?

— Здесь, ваше благородие, — точно отрубил кто-то в тумане позади.

— Где здесь?.. Экий пар, — ничего не видно.

Во мгле послышался ровный шаг подходившего человека, и скоро перед нами выросла характерная фигура старого фельдфебеля. Он вытянулся, держа руки по швам и, по уставу, глядя в глаза ротному.

— Ну, что, старик, проститься пришел?

— Прощаться будем, ваше благородие, потом... А пока дозволейте с ротой.

— Да, ведь, мы, чудака-человек, в поход.

— Точно так... И я с вами. Не впервой, слава Богу... Дело знакомое.

— Вот тебе и на?.. Да вы что это, Сергей Ефимыч? — Никак нельзя иначе. Сами знаете, — шепотом заговорил он: — солдаты молодые, никто из офицеров-то на стоящего огня не видал. Я так положил: сломать весь поход с ротой, показать им, как солдат должен вестись и правдой, значит. А потом и в огонь, пока не обстреляются...

— А семья твоя?

— Вдова с детьми? Не помрут... Я их устроил тут... Мне за роту страшно... Все я им помогу... Покажем... Молодому солдату пример нужен. Под Севастополем она первую считалась. На двадцать шагов англичанов подпускала, без выстрелу... Клац!.. И стоят, ждут, а потом пли! в самые морды, значит... Железная рота была... Надо бы и теперь... Я много места не займу, ну, а если и убьют, что ж старому солдату смерти бояться? Самое настоящее дело. Не даром у меня три Егория... Кому и помирать христолюбивым воинам, как не мне.

Смотрю, капитан старается быть спокойным, а у него непрошенные слезы так и проступают в глазах.

Известно, что железные дороги во время войны вовсе не оправдывают ожиданий мирного времени. Всегда подвижной состав оказывается и недостаточным, и негодным. Нет вагонов, нет локомотивов, нет платформ.

Нашему полку тоже пришлось большую часть пути сломать по грунтовым путям. По чугунке мы не сделали и половины, а в Румынии уже и совсем шли пешком. Помню, как мы переходили через Прут... Около меня был в это время старый фельдфебель: он вдруг ожил разом, брызнул, действительно, брызнул на меня искрами внезапно разгоревшихся глаз, лихо расправил усы, а потом вдруг точно опомнился, снял шапку и перекрестился.

— Четвертый раз перехожу я его... — пояснил он и задумался. — Орлы были!.. Какие орлы были, ваше благородие! В небо самое — летом! Всех я их помню, точно сейчас они предо мной. Самое что есть невозможное делали! Зло какое — все позади оставалось, а вперед одна доблесть шла... Ах!.. Дай-то Бог и нонешним так послужить, как те служили.

Тут уже он ничего не пропускал мимо. Казалось, далекая была во всем блеске. в ярких эмалевых красках молодости, с её зноем и счастьем, воскресала перед ним. Он начал шутить, рассказывал солдатам трогательные и героические случаи того времени, и незаметно таким образом воспитывал их в боевых преданиях. Весь путь, весь этот поход старый фельдфебель не позволил себе ни малейшей поправки. Молодежь, бывало, языки высунет, устанет, понурится, а он точно и не замечает этого, не горбясь, такой же прямой, грудь вперед, месит себе бессарабскую грязь ногами и подшучивает над „нынешними“.

— Эй, ты, племяш, чего в земле ищешь? Аль у тебя здесь бабку похоронили?

Племяш, сконфуженный, выпрямляется, а Токмаков продолжает свое.

— Солдат гляди вперед за пятнадцать шагов. Нечего ему под ноги, точно деревенской знахарке, смотреть... Вишь, у тебя, парнишко, нос-то кверху задран, — ты и иди за носом, небось, он не обманет... Ноздрей в небо самое для легкого воздуха, значит... И дышать легче, и вид у тебя настоящий, бравый, как у петуха на заборе.

А то пойдет дождь, охватит холодом, он тут как тут, шутит, смеется, анекдот расскажет такой, что весь взвод хоть на землю ложись от хохота... Потом передние задним передают его, и вся рота смеется и, приободренная, бодро одолевает туман и слякоть румынской осени. Наш действительный фельдфебель, молодой Гаврилюк, понял нравственное превосходство старика и во всем спрашивался его, но тот научил его уму-разуму. „Ты меня спрашивать спрашивай, и всегда я тебе от души совет дам, а только ты это глаз на глаз, чтобы солдаты не видали... Никакого почтения к тебе у них не будет иначе, коли ты не своим умом станешь действовать. Ты будто от себя все должен"...

Уже около Плоэшт старый фельдфебель показал себя молодым солдатам и с другой стороны.

Вели мимо нас партию пленных турок... Мы остановились отдохнуть, и они тоже. Наши окружили их, сначала остолбенев; словно на невиданных зверей, смотрели на горбоносых, старых анатолийцев, бритолобых, с усами, низко падавшими на измученную трудной дорогой грудь, а потом послышались вдруг шутки: кто-то первый подсмеялся над пленными, не со зла, а по глупости; к нему пристали другие, и вдруг завязался кругом уже ничем не стесняемый хохот.

— Смирно!.. — вдруг грозно и громко раздалось позади.

Солдаты вздрогнули и смолкли.

— Стыд!.. Срам... Над чем смеетесь?

И старый фельдфебель, раздвинув стоявшую перед ним молодежь, вошел в круг, обводя всех суровым взглядом.

— Над чем смеетесь?.. Они такие же воины, как и вы... Господь нам даровал победу, потому что наше дело правое, честное, святое!.. Не смеяться над ними, а жалеть их надо. Стоять они пред вами врагами в поле, бей их, не щадя, на то и война, на то и присягали вы. А сдался он вам, святое дело, береги его, потому что он несчастный теперь. И наши в плену бывали, что ж, и над тобой, если ты ненароком попадешься, так же глумиться станут? Коли оказывал ты ему великую честь, дрался с ним в открытом бою, значит, равен он тебе, тоже храбрый солдат, тоже присягу принимал... Стыдно, ребята, не ждал

я от вас этого! Солдат не зверем, а человеком должен быть...

И подойдя к пленным, он поделился с ними табаком; одному молодому, дрожавшему на холоду и босому, — опанки, должно быть, по пути стерлись, — послал у себя сапоги сыскать...

— Бог вам их в руки дал не на насмешку. Война большое Божье дело. Тут надо с чистым сердцем!

С тех пор уже подобные сцены не повторялись. Когда и в другой роте некстати разойдутся солдатики (партии пленных попадались все чаще и чаще), наши остановят и не дадут бедняков в обиду.

Около Журжева, колокольни и башни которого на этот раз тонко рисовались на просветлевших небесах, мы отдыхали привалом в какой-то румынской деревне. Только что поставили ружья в козлы, высланные вперед кашевары у котлов завозились раздавать кашу, как около послышалось:

— Здорово, молодцы!

Маленький, седой генерал, зоркий, веселый и живой, не смотря на годы, обходил нас.

— Из России?

— Точно так, ваше—ство! — слышалось в рядах.

— Устали, поди?

— Никак нет! — весело отвечала наша рота.

— Ай да богатыри! не устали? И ноги не болят?

— Нет, ваше—ство...

— И сейчас на турок готовы?

— Постараемся...

— А пулям кланяться будете?.. — и не докончил, увидев Сергея Токмакова, руками всплеснул.

— Дядька... Ты что ль? Отец командир!

— Он самый! — радостно отвечал старый солдат. — Он самый, фельдфебель первой гренадерской роты Сергей Токмаков, ваше—ство.

Но генерал швырнул куда-то фуражку и с обнаженной головой шел к нему, еще на ходу протягивая ему руки...

— Сухо дерево, — завтра пятница, какой еще молодец! Давай Бог... Вот свиделись-то где, отец.

Он горячо обнял и расцеловал Токмакова, потом к нам обратился.

— Вот, господа! Я юнкером был, а его ко мне дядькой учить меня царской службе назначили. И жили мы с ним душа в душу без малого двадцать пять лет. Сколько раз он меня выручал, пожалуй, и не счесть.. А на Малаховом кургане своею грудью заслонил. В большом и неоплатном я у тебя долгу...

И он еще раз обнялся и расцеловался с ним... Потом взял его, и они долго ходили по площадке румынского села, беседуя о далеких временах, когда оба были молоды и сильны. Опять подошли к нам, и генерал, только сейчас опомнившись, обернулся к нему:

— Да как ты сюда попал?

— Как же, ваше-ство, молодого солдата в дело пустить так, без призору.

— Батюшки!.. да ведь это и полк-то наш. Вот форму изменили и не узнать.

— Он самый... И рота та, где ваше превосходительство потом изволили взводным быть.

— В самом деле?.. Родные... Ну, Токмаков, утешил ты меня... Лучшего праздника я и не ждал себе... Ну, ребята, я уж сегодня с вами!..

Он собрал офицеров, позвал Токмакова и целый вечер рассказывал нам про былое, и в этих рассказах фигура нашего старого фельдфебеля выростала до каких-то героических, легендарных размеров... Мы и не слыхивали о подвигах, которые были живы в памяти его сверстника - генерала... Когда мы разошлись по избам, старые товарищи остались вместе и чуть не до рассвета беседовали.

Бойцы поминали минувшие дни

И битвы, где вместе рубились они.

Уезжая, генерал звал Сергея Токмакова с собой, но тот решительно отказался.

— Я с ротой...

— До каких же пор ты будешь с ними?

— А как окрестятся огнем... да привыкнуть, чтобы нашему славному полку сраму от неё не было...

— Понимаю тебя... Ну, дай Бог еще встретиться... сухо дерево, завтра пятница!

И друзья расстались.

— Да, были орлы в наше время!..— задумчиво говорил потом Токмаков.

— И еще будут, Сергей Ефимыч.

— Будут... Ужли ж не быть. Не оскудела матушка Россия... Слава Богу... А только теперь они еще орлята, когти не отросли, и клювы не пробованы!

III.

Под Плевну

Наш полк не долго оставался на берегу Дуная.

Не успели мы выйти оттуда, как нас нагнало распоряжение передвинуться к какой-то деревне, напротив Рушуга, и стать там. Румыны встретили нас неприветливо, воды нельзя было допроситься у них, — и за все, про все с нас они требовали денег. Токмаков только головой качал, глядя на них.

— Совсем испоганился народишко... И прежде грош ему цена была, а теперь, ишь, какими канальями обернулись!

— А что? — спрашиваю я его, думая, что он передаст что-нибудь из первых своих впечатлений в этом краю, и не обманул.

— То есть сколько мы за них здесь крови пролили! Тогда, как мы здесь впервой были, тяжело им от турков приходилось, не знали они, чем угостить, куда посадить нас... Память у них коротка. А теперь поди-ка! За воду и то галаган им подай... Ожидовели на воле-то!.. Неужели и с болгарами будет то же... Тоже забудет, как им сладко было с турками жить... Вся эта нация не стоящая, одно только, что веруют по-нашему.

Мы, разговаривая, подошли к Дунаю.

Осень на этот раз улыбнулась нам чудными погодами, точно в последний раз побаловать хотела. Великая славянская река, вся голубая, тихо струилась вдаль, разделяясь здесь на рукава. Мягко золотились её песчаные отмели, изумрудным блеском ласкали глаз рощи, выросшие по её островам... Солнца было столько, что поневоле

хотелось зажмуриться. Вдали под ними, точно марево, виднелись острые и тонкие минареты Рушук, уже знакомого нам по реляциям и корреспонденциям... Тишина здесь стояла такая, что даже не верилось в боевые легенды, уже мерещившиеся над этими чудными местами. Сергей Томаков долго смотрел вдаль...

— Что, Сергей Ефимыч, бывали вы там, поди?

— Всякое местечко знаю... Бывал... Молодые мы тогда были здесь. Еще и нашивок у меня не было... Ефрейторские мне дали уж там, за Дунаем... Да, пожито, пожито!.. Надо правду сказать, многого я там навидался. Помог Господь послужить! Пускай молодые теперь... Вон на том мыске, голый он теперь, а тогда бедовая заросль стояла там. Три ночи мы сидели, хоронясь. Языка добывали... Ну, на четвертую подстерегли турецкую лодку с ихними аскерами (солдатами) и взяли их глотом... Попуцали они маленько из своих ружьишек, одного нашего ловко уложили, а только все же мы их предоставили... А там вон, что на той стороне горка, было у нас здоровое дело... Наш взвод табор ихний окружил. Кабы тогда свои вовремя не выручили, там бы наш конец и был. Часов пять мы кареем отбивались. И в живых нас оставалась самая малость... Думали, все помрем. А сдаваться чтобы между собой зарок положили: кто о сдаче первый крикнет, чтобы сосед его на штык посадил. Вот мы какие тогда были!.. Главкомандующий приезжал благодарить. У меня и Егорий за это дело за самое.

Наконец, и нам объявили поход.

Медленно вытянулся полк на высоком обрубке Дунайского берега.

Служили молебен. Горячо и благоговейно молились солдаты, глядя в ожидавшие нас голубые заречные дали. Каждому невольно приходило в голову, не ему ли первому суждено сложить свои кости в том таинственном просторе, откуда долетали к нам до сих пор только чудные вести о героических сказочных подвигах наших богатырей. Страха не было. Никто не дрожал за себя, но воспоминание невольно рисовало далекую теперь родину, которую многим из нас не придется увидеть. Молебен окончился, полковой командир хотел, было, сказать что-то, но не вышло. Он улыбнулся и неожиданно закончил:

— Товарищи! служили вместе верой и правдой, и впредь будем так. В опасном месте вы всегда увидите меня; а кому Бог смерть пошлет, об этом и думать нечего... Кончина в бою — лучший жребий для воина... Вы знаете меня, а я — вас. Нам и разговаривать много не за чем: с Богом, марш!

Барабаны забили поход, мы построились в колонны и двинулись вниз, точно в туче, пропадая в клубах серой дунайской пыли... Зимница исчезла в этой пыли позади... С музыкой мы прошли реку по понтонному мосту. Вот Систовский берег, свидетель первого подвига наших войск в эту войну. Вот само Систово, своими тонкими минаретами, тонувшими на этот раз в безоблачных небесах. Через несколько переходов Горный Студень, обезлюдевшие поля Болгарии, безлесный простор, по которому еще недавно могучею лавиной прокатились наши армии. Изредка нам попадались транспорты раненых. Их везли в телегах по скверным дорогам. Стоны слышались оттуда. Я думал, не произведет ли это скверное впечатление на наших солдат? Нет, только хмурятся да крестятся... Как-то один из раненых приподнялся на локтях в темноте, окинул нас воспаленными глазами.

— Ну, братцы, мы поработали, теперь ваш черед! — крикнул он. — Постойте за нас!

— Небось, не осраимся! — тихо ответили молодые солдаты разом со мною.

— То-то...

Я искренно обрадовался этому. Влияние Токмакова сказывалось.

Кто ни проезжал, всякий удивлялся молодецкому виду нашей роты. Тут и отвечали, и смотрели бодрее. Обнаруживалась особенная боевая подготовка. На биваках, на отдыхах, по всякому малейшему поводу, старый фельдфебель не упускал случая передать какой-нибудь рассказ из прошлого нашего полка или нашей роты. Казалось, пред Токмаковым живыми еще стояли все его старые товарищи, он видел их, говоря о них, пред ним воскресали яркие были, и, как всегда в этих случаях, природа человеческая оказывалась великодушною. Переживало, только великое, благородное, самоотверженное. Зло уходит в потемки, ему не стало места в памяти сердца.

Понятно, что должно было расти в душе у слушавшего, Я видел, как их глаза тоже разгорались, как высоко дышали их груди под серыми шинелями!..

Октябрь застал нас под Боготой.

Мы долго стояли около. В половине этого месяца объявлен нам был смотр.

Полк почистился, оправился. Нам сказывали, что тотчас же после этого нас двинуть под Плевну... Молодые солдаты впервые видели главнокомандующего.

Старый фельдфебель во время смотра стоял в стороне, но и он был замечен великим князем. Увидев вытянувшегося старика без погон, но с „Георгиями“, его высочество спросил о нем у корпусного командира, которому уже было известно все со слов нашего полковника.

— Здорово, старый товарищ!.. — подскочил к нему главнокомандующий.

— Здравия желаю вашему императорскому высочеству! — отчетливо ответил Токмаков, глядя в лицо великого князя.

— Ты Токмаков? — ласково оглядел он его.

— Точно так-с, ваше императорское высочество.

— Пришел с прежним своим полком? Пример показать своим солдатам?.. Спасибо тебе за службу. Поцеловал бы тебя, да с коня сойти некогда... Еще не раз встретимся здесь. Еще раз спасибо...

— Рад стараться, ваше императорское высочество.

— У тебя три Георгия... Домой вернешься с четвертым... Этот я уж сам на тебя надену после первого дела!.. Ну-ка, товарищ, в строй... Хочу видеть тебя, с твоей ротой!..

Каждое слово отдавалось в сердце молодых солдат... Старый фельдфебель точно вырос еще после этого неожиданного привета.

Главнокомандующий вслед за этим поздравил нас с походом, и мы весело двинулись вперед.

Солнце, казалось, только и ждало этого, чтобы закатиться совсем.

После этого мы его не видали долго. Скверная болгарская осень днем кутала нас своими холодными туманами. вечером и ночью обливала студеными дождями. На дорогах стояла какая-то бездонная грязь, в которой ноги скользили

и расходились. Трудно было их вытащить из этой клейкой массы. Мокро! На нас сухой нитки не было; в окрестных деревнях начались оспа, гнилая горячка. Больные и здоровые болгары ютились в грязи, и мы с ними. Бывало, остановимся в какой-нибудь деревушке, хоть вон беги на дождь и холод от ужаса их землянок. В углу стонет умирающий, обводя нас воспаленными взглядами, у костра греются дети и не могут согреться. Дрожа от стужи, хозяйка печет кукурузу и полусырую дает им в руки... Едят скудно, живут грязно. Чад горящего кизяка, запах тифозного больного, смерть просто!

Тут-то и показал себя наш старик.

Если молодежь не растерялась и не переболела, она этим была обязана ему.

Он ободрил их, поддерживал „сердце“, как говорили у Скобелева.

— Коли „дух“ есть, и болезнь не хватит! Ты думаешь, негде тебе отдохнуть, ложись наземь.

— Мокро, дяденька!

— Ишь, чего захотел. Сухости!.. А на мокром мягче! На сухом-то жестко, а ты в грязи, что в перине. На то и война. Есть-пить хочешь?

— Хочу.

— Ну, выпей водицы: она Божья, чистая! Да закуси собственным языком, и вся недолга.

И он смеется, и солдаты смеются, и ложатся безропотно на мокрые перины болгарской грязи.

Опухнут ноги, бывало, от холода, Сергей Токмаков до походного лазарета не допустит. Сам их ототрет мокрою грязью, обернет тряпьем, что под руку попадет, и, смотришь, солдат ожил... Интендантство, когда зима застала врасплох, оказалось совершенно бессильно.

Тут уже, то и дело, слышался грохот наших батарея издали.

Ни на минуту он не смолкал. Кругом Плевны гремели громы, и тысячи гранат падали каждый день в укрепленные лагеря, редуты и траншеи турок. Оглушительные залпы, где в один чудовищный рев сливали свои голоса сотни медных и стальных жерл, дышавших пламенем и смертью в этих стойких гномов, роившихся в земле и спасавшихся под нею от неминуемого истре-

бления. С каждым днем железное кольцо этих батарей суживалось и суживалось, прицел их все уменьшал расстояние. Гуще и гуще падали с вала гранаты, а Осман-паша все глубже уходил в землю, пока у него были еще хлеб и вода. Население Плевны голодало; люди бродили, как тени. Раз, но ежедневно, все батареи в один и тот же момент били по заранее намеченному пункту, сегодня по одному, завтра по другому, послезавтра по третьему; на этих редутах, казалось, наступал последний час мира, точно небо, разверзаясь, сыпало на него мириады молний. Тысячи гранат зарывались в него, лопались, сметали насыпи, рвали в куски сотни людей; в грозном реве четырехсот орудий, будто капли в море, терялись их предсмертные стоны... Завтра вырастал новый редут, и новые сотни роющихся в земле гномов прятались за его насыпями... Было ясно: рано или поздно Плевна должна быть сметена нашими батареями с лица земли, но отчаяние защищающихся здесь, верно, доходило до ужаса.

— Слышали, детки? — улыбается, бывало, Токмаков.

— Чего это?

— А музыка какая. Пушечки наши!.. Точно гром небесный... А вам еще, вишь, холодно да голодно. Им-то, туркам, поди, куда хуже... Им жарко от нашего огня. Они бы рады холодку... Лишь бы их в покое оставили, не трогали.

Еще через несколько дней мы уже были на позициях.

Пред нами была целая сложная система пологих горных кряжей и лощин. Налево плосковерхий гребень, обрушивающийся вниз; на его темени могучий редут, валы нескольких батарей, вниз ползут зигзаги ложементов и траншей. В выемках, между рядами откосов, в складках гор, прятались болгарские села. Крытые соломой землянки их сливались с голыми полями кругом, только жалкие на вид церкви убого выделялись темными пятнами. Там безлюдье. Ни жизни, ни движения. Вот неприятельские батареи... Воображение отыскивало в них амбразуры, а в амбразурах жадные жерла направленных в нас орудий. Батареи эти венчали выступы гор и обстреливали наши позиции веером. За батареями чуть мерещится белая Плевна, точно марево, слегка дрожащее и колеблющееся в воздухе... Вот-вот, кажется, уйдет из глаз, пропадет

без следа. В бинокль ясен этот злополучный город. На высотах гор белые дымки, точно клочки освещенных облаков. Дымки эти кольцом вокруг Плевны и её укрепленных лагерей. Это выстрелы наших батарей; целый день эти облачка стоят здесь, и целый день гремит гром на вершинах, лежащих около Плевны. Молчат и таятся турецкие батареи, храня свои грозы до последнего дня. В то самое время, как мы заглядываемся на эту громадную панораму, бывало, разгорался артиллерийский бой, и все тонуло в его стихийном грохоте...

С позиции, где мы стояли, старый фельдфебель, то и дело, водил молодых на батарею, выдвинувшуюся вперед.

— Куда вы их?

— Покрестить маленько... Пусть привыкают, потом не так страшно будет.

А там, на батареях, уже готовятся... Бывало, пушка грянет, точно чья-то железная грудь крикнет, и, словно исполинский, стальной бич, рассекает воздух несущаяся к туркам граната. Токмаков при бравых артиллеристах срамит их... Секунды проходят, а там, куда полетел наш стальной подарок, не видать ни дымки, ни разрыва.

— Есть! — торжествующе кричит кто-то.

Разглядел, что в турецкой батарее взорвались вверх земля и камень.

— Ну-ка еще! — командует офицер.

Еще раз стонет железная грудь, граната попадает в батарею.

Видно, как оттуда бежит во все стороны народ.

Но и турки не остаются в долгу.

Вон и там ахнула железная грудь дальнобойного орудия... Бешено принеслась к нам граната и разорвалась позади батареи. Молодые солдаты невольно пригнулись.

— Чего ты им кланяешься?.. Эк они вас напугали! — смеется над ними Токмаков. Потом их же поучает:

— Ты помни одно: та граната или пуля не страшна, которая выпущена из дула, страшна та, что в дуле сидит!..

А сам вернется, улыбается.

— Чего вы это, Сергей Ефимыч?

— На своих радуюсь. Будет толк из них. Молодцами за свой полк постоят...

IV.

В деле.

Скоро, впрочем, Сергей Ефимыч совсем успокоился. Как-то ночью нашу роту подняли.

Нас вывели из деревни, где мы стояли, построили в колонну. Какой-то инженерный полковник обратился к командиру:

— Умеют ваши молодцы траншеи рыть?..

— Учились...

— Ну, вот... Сегодня нам придется выдвинуться поближе к туркам... Там зароемся, братцы, как следует. Надо идти тихо. Помните, весь успех дела от этого зависит. Петь станете, шуметь или разговаривать, ихние секреты вас расслышат.

Мы, действительно, двинулись вперед, как мыши. Самое чуткое ухо не могло бы ничего расслышать... Земля была мягка, и шума наших шагов нельзя было различить и вблизи. Шанцевый инструмент пригнали так, что он не стучался о ружья... Ночь ярко горела на этот раз всеми своими звездами... Мы шли уже более часу, как вдруг перед собой различили какие-то силуэты.

— Здесь... Сюда! — тихо звучало во мраке.

Тут оказались ямки и валики одиночных выдвинувшихся далеко вперед стрелков, которые еще вчера били отсюда по туркам. Нас удивило, что Токмаков был не с нами, но как только развернулась шеренга по направлению к проектированным траншеям, так высокая и худощавая фигура старого нашего фельдфебеля показалась около.

Солдаты сами понимали важность и опасность дела. Лопата не встречалась с лопатой, никто не кашлял, не разговаривал. Каждый чуял, что близко могут лежать в секретах турки, следовательно, надо было держать ухо востро.

Командовали шепотом.

Офицеры передавали приказания чуть не на ухо солдатам. Я думаю, никогда еще руки не работали так быстро. Во всей линии мягкие комья земли выбрасывались и падали на мало-помалу заметно поднимающуюся насыпь новоявлен-

ной траншеи. Через два часа она уже углубилась на аршин. Кто-то из очереди, бывшей на отдыхе, закурил трубочку...

— Ты что это? — подошел к нему Токмаков.

— Покурить, Сергей Ефимыч.

— А как он увидит да в лоб тебе запалить...

И опять тишина...

Чу!.. что-то точно стукнуло и покатилося по ложине...

Справа еще... Подхватили налево. Солдатики работают быстрее, нервнее; глубже погружаются в рыхлую землю лопаты; скорее взбрасываются вверх комья, шорох их сплошнее как то, если не громче.

— Неужели расслышали? — тихо спрашивает кто-то.

— Куда им!.. — насмешливо звучит тем же тоном Токмаков. — Так, пужают.

— Для чего?

— Турки? для очистки совести... Дескать не подбирайтесь. Мы не спим. Сторожим. А то, ведь, и опаска берет: как бы наши охотники не подползли.

Рассеянная и беспорядочная линия выстрелов пробежала по турецкой цепи и смолкла.

Опять в тишине только шуршат комья взбрасываемой земли.

— Славная у вас рота! — слышится мне.

— А что? — отвечает наш командир.

— Хорошо спелась. Дружно работа идет и дисциплинирована.

— У нас такой мастер есть! — смеется капитан: — старый фельдфебель Токмаков. Вот, рекомендую!

— Я слышал... — с видимым уважением приветствует того инженерный полковник, — я слышал... Ты здесь не в первый раз?

— Знакомые места, ваше высокоблагородие, как же! Два раза был здесь... Господь привел в третий. Досыта здешняя земля полита русскою кровью. Святая земля.

Случайно казачий разъезд наехал на нас.

Мы его различили только тогда, когда в темноте вдруг смутно обрисовались перед нами всадники с пиками в руках... Так же тихо и незаметно они исчезли в стороне. Те же пики и кони слились в одну темную полосу, в свою очередь, исчезнувшую в ложине.

Опять стукнуло где-то и прокатилось в ложине.

На этот раз бесцельная и взбалмошная перестрелка турецкой цепи не оборвалась так же, как за несколько времени пред этим. Очевидно, или туман рассеялся, или цепь их подходила к нам, только невдалеке от нас замелькали огоньки выстрелов.

Токмаков зорко всмотрелся туда.

— На этот раз почуяли! — заговорил он тихо. — В нас они... Должно быть, из ихних секретов им дали знать.

Действительно, несколько пуль просвистало мимо. Две или три чмокнулись в мягкую и влажную землю наскоро вырытого вала. Кто-то закланялся.

— Знакомая? — спросил его Сергей Ефимыч.

— Что?.. — отозвался тот.

— Или родная, что ты ей, кланяешься? Солдат только в церкви Богу кланяется, а то и перед государем должен прямо стоять, — весело и бодро в глаза ему глядеть, а ты турецкой пуле какой почет оказываешь.

— Я, дяденька, так.

— То-то так. Смотри, коли еще... Старый не править, — малый не понимает! — с усмешкой обернулся он ко мне.

На правом фланге у нас засуетились... Там кто-то был ранен. В тишине и торжественном молчании ночи послышался тихий стон.

— Эй, братцы, полегше... Полегше... Голубчики... в плечо вдарило...

Токмаков, слышу, уж там.

— Ну, ну, — ничего, ежели в плечо. Кость не тронуло?

— Кость? — точно раненый впервые узнал о её существовании. — Нет... Не... в говядину в самую...

Линия огоньков турецких подошла ближе... Нашим приказано было бросать шанцевый инструмент и залечь за готовый уже вал.

— Ну, ребята, слушать команду... Зря не стрелять!.. Пуля у тебя в ружье страшнее врагу, чем та, которая летит в него.

Наши молча слушали. В темноте ночи можно было рассмотреть длинный ряд дул, направленных в то загадочное нечто, откуда порой вспыхивали выстрелы, и где слышали крики: „Алла, Алла!..“ Должно быть, там собирались атаковать нашу новорожденную траншею.

— А если враг добежит до вала, опять-таки встретить его по команде, залпом, а потом на штыки прими... Главное, не теряй головы; враг не страшен, если ты сам спокоен, ну, а растерялся, — пропал...

Тем не менее, не надеясь на молодых, не обстреленных солдат, полковник послал вызвать ближайший батальон из резерва.

— Помни, — доносился до меня голос Токмакова. — кто свою шкуру не бережет, тот на войне и бьет. Труса везде найдет пуля, — недаром ихние вороны через головы палат нам. Кто остался позади, — и пропал.

Стреляла, стреляла турецкая цепь, верно, выжидая подхода своих таборов, „Алла, Алла" которых слышалось позади, как и за нами вдруг зазвучали сигналы горнистов... Сигналы подхвачены были направо и налево, последние отзвучия их пропали в грохоте вдруг разгоревшейся перестрелки. Теперь уже свинцовые шмели роями летали над нами...

— Сергей Ефимыч... Что ж это она? — неумело спросил Токмакова молодой солдат, — все через голову?

— Тебя же учат, что нечего их бояться...

Позади показался наш батальон... Он шел стройно, бодро. Видно было боевую, обстрелянную часть. В решительный час и наши солдаты точно переродились... Серьезного раздумья, оторопелости как не бывало в их лицах. Смотрят бодро, весело... Подтянулись... С бьющимся сердцем, вперяя нетерпеливый взор вдаль, мы видели, что турецкие огоньки все близятся, очевидно, и их цепь начала наступление... подходящая пехота залегла пока сзади.

Чу! грянула первая турецкая пушка.

Граната перелетела далеко... Она разорвалась где-то за нами. Впереди зарылась в землю другая. Что-то точно сталью рассекло воздух над нашими головами, взвизгнуло, треснуло и рассыпалось свинцовым дождем. Наша молодежь всполохнулась, было, но тотчас же здесь послышался спокойный голос Токмакова:

— Это, братцы, шрапнелью называется. Она над головой рвется. Шумит, точно, много, но без воли Божией смерти не бывает!..

Еще две три шрапнели разорвались над нами... Высоко взлетела у турок ракета, освещая окрестности.

И вдруг опять тишина...

Слабее выстрелы оттуда... Огоньки отходят назад. Должно быть, турки отменили наступление. Мы высылаем секреты вперед...

— Ну, слава Богу! — облегченно вздыхает Токмаков. — Признаться, сегодня я боялся за наших: дело ночью, и опытным жутко, а уж такой молодятине и того жутче...

V.

Ночное сражение.

В ту ночь, когда наша рота рыла новую траншею, не было „боевого дела” в полном смысле этого слова, но все-таки наш полк показал себя, как следует. Старик Токмаков был доволен и повторял: „Ничего, из ребят толк выйдет”. Через два дня вечером было получено из штаба приказание занять первый гребень из находившихся пред нами, где у турок были траншеи, и укрепиться на нем. Накануне всю долгую осеннюю ночь стояла такая густая мгла, что разъезды, высланные на рекогносцировку, сбивались и попадали не туда, куда выезжали. Ожидали, что и завтра будет то же самое. С рассветом у нас закипела лихорадочная суматоха. Солдаты торопливо чистили ружья. Сами, без приказания, переменяли белье, одевались во все, что было лучшего...

День был сырой, мрачный, холодный, таких за всю эту осень не помнили. Лишь бы не заблудиться, а погода — лучше не выдумать: турки ничего не разглядят, пока мы нос к носу не столкнемся с ними. В тумане все сливалось. Когда мы выстроились, пред нами уже стоял взвод стрелков. Они вызвались первыми броситься на турецкие шанцы... Мы со страстным любопытством новичков всматривались в них, точно хотели что-то прочесть в этих обыкновенных, серых, простых лицах. Ни искры показного воодушевления, героизма, чего-либо картинного, что мы привыкли воображать в „чудо-богатырях”, но эта будничность производила еще большее впечатление. Она хватала за сердце. „Совсем, как мы”, невольно думалось каждому.

— „Значит, и мы могли бы быть на их месте и сделать то же самое!" Под этою скромностью чувствовалось присутствие настоящей русской отваги, не шумной и не хвастливой, с которой они сроднились, как сроднились с серою шинелью, с лагерною палаткой. Подвиг им самим казался самым простым делом, без которого и обойтись нельзя. — „Приказано, — значит, надо исполнить... Велено, — умирай, а не велено, — мы и жить согласны!" Такое общее „богатырство" выше личного, единичного. Оно не дает материала для эффектных батальных картин, но за ним другая заслуга - подвиги „боевых частей" вместо подвигов отдельных лиц. Это были уже обстрелянные солдаты, но какие наивные, доверчивые улыбки осветили их лица, когда к ним подъехал Скобелев. Они провожали его глазами. Один особенно — весь во взгляде: „посмотри-де, как я стою! и грудь выпятил, и живот подбрав, по форме, а ведь на смерть идешь!" Но никому из них, очевидно, об этой смерти и в голову не приходило, потому что и думать о ней не стоило.

— Ну, что, ребята?.. Не осрамимся мы сегодня? — весело беседовал с ними генерал.

— Постараемся, ваше-ство...

А что — „постараемся", пока, видимо, сами не дают себе отчета.

Скобелев улыбается, зорко всматриваясь в черные фигуры пред собою. И всматривается, и вслушивается, точно по голосам их решает, на что он может надеяться с ними. А между тем, у самого на лице отражается всё большая и большая уверенность, что дело сегодняшнего дня удастся...

Есть необыкновенно тонкие душевные связи между полководцем и его солдатами: они мгновенно понимают друг друга; часто взгляда, привета с одной и ответа с другой стороны достаточно, чтобы явились взаимное понимание и беззаветная вера.

— Не осрамитесь? — уже смеясь сам этому предположению, повторяет он.

— Никак нет... Мы рады!.. — согласно бежит по рядам.

— Смотрите, не зарываться. Не Плевну брать идете, а только выбить турок из их траншеи и занять ее... Значит, дорвались и садись туда. Не больше, слышите?

Теперь уже, очевидно, он прочел по лицам солдат то, что у них на душе, и боится не недостатка мужества, а излишества увлечения.

— Постараясь!.. — А сами еще веселее глядят, так весело, что за них даже жутко делается.

— То-то... Тут дело не в храбрости, а в послушании. Сказал тебе начальник „стой“, так, хотя и желалось бы погнать неприятеля дальше, ни с места. А турок бояться нечего...

— Мы не боимся!..

И, действительно, по глазам видно, что не боятся.

— То-то... Они солдаты хорошие, а мы их лучше. Помните Ловчу, как мы их били? — И на лице у него точно какой-то отблеск скользит. — Помните, как вы их погнали?

— Помним! — радостно звучит уже из рядов; то же радостное выражение отражается и на солдатских лицах.

— А как дрогнули они, а? Не ждали они! Прямо в самые морды вы им „ура“ крикнули.

— Они от нас всюю ордой побежали! — уже за свой счет отзывается улыбающийся во весь рот солдат.

— Ты был тогда со мной?.. Из старых, должно быть?..

— Я с вашим—ством и редуты эти самые под Пле—венем брал... — уже совсем счастлив тот.

— Ну, вот, братцы, видите?.. Дело нетрудное, — ведь, эти самые позиция наши были.

— И опять будут, ваше—ство. Постараясь.

К нам (я догнал своих и стал в ряды) генерал приехал позже и озабоченно вглядывался в наши лица; казалось, ему хотелось прочитать, каковы мы будем в сегодняшнем трудном деле. Осрамимся или нет? Веры в новичков не было. Следовало сделать что-нибудь, что подняло бы дух солдат. С опытностью настоящего боевого психолога генерал нашелся.

— Где тут старый фельдфебель ваш? — спросил он, подъехав к роте.

Токмаков вышел из рядов и вытянулся.

Скобелев зорко всмотрелся в него и снял шапку.

— Поклон тебе, старик, от нас ото всех! Легко было дело делать с такими орлами!

Потом он обратился к нам, к офицерам.

— В лице Токмакова, господа, я вижу связь вашей мо—

лодой части со старыми, победоносными нашими армиями. Он живой образчик их славной истории. Еще раз поклон, старик! — И он опять высоко поднял шапку.

Что-то сверкнуло в глазах у Сергея Ефимыча.

— Были у меня такие, когда мы с горстью храбрых брали в Средней Азии целые города, завоевывали ханства!.. Были, и еще будут, ведь, вот явился ты к своему полку!.. Велика та армия, где такие солдаты встречаются...

— Рад стараться, ваше-ство!

— Где труднее будет, — выручай! И смотрите, беречь у меня старика, не выдавать его. Если вы да позади останетесь, а его вперед пустите и потеряете, то и на глаза мне не попадитесь потом. Я и командовать вами откажусь!

Скобелев останавливается... крестится.

Точно ветер проснулся в молодой листве, тихий шорох бежит по рядам. Крестятся офицеры и солдаты. Каждый читает про себя молитву, каждый теперь точно в свою душу и сердце смотрит. Кто знает, быть может, некоторым не останется даже мгновения, чтобы, падая, обратить свой взор к этому серому небу, по которому теперь тяжело ползут низко нависшие тучи, и поручить Богу свою отлетающую душу.

— Стройся! — тихо звучит команда.

Впереди длинная цепь стрелков широко веером разбрасывается, утопая в тумане. Через минуту, напрягая зрение, мы уже не видим их вовсе. Шума их шагов по мягкой и влажной земле тоже не слышать.

— С Богом! — тихо командует нам генерал.

Мы двинулись...

Около часу мы двигались таким образом тихо-тихо. В моей памяти осталось неопределенное впечатление холмов, которые мы покидали за собой, лошин, где оставались менее решительные, — неизбежная печальная подробность каждаго боя! Надо отдать справедливость, у нас таких было очень мало. Нас отовсюду охватывала серая и густая мгла. Мы часто в ней ничего не видели пред собой. Турецкие позиции уже недалеко. Вот он в этой загадочной дали... Мы их скорее предчувствуем, чем видим. Сердце начинает биться сильнее. Взор стремится проникнуть сквозь все преграды и туман, и холмы, чтобы увидеть, что там за ними ждет нас. Я тоже всматривался и вслушивался...

Не грянет ли оттуда выстрел чуткого часового... Но скоро туман стал еще гуще... Мгла окутала черные силуэты стрелков в вашей цепи, а следовавшего пред нами отряда охотников мы уже давно не видали, точно его и не бывало никогда. И какая тишина! Зловещая, словно что-то подстерегающая.

— Слава Богу! — слышится подле меня.

Я различаю голос Скобелева.

„Чему он радуется?“ — думаю, и понять не могу.

— Слава Богу... Дело обойдется без больших потерь.

Но как раз в это мгновение сухой звук одиночного выстрела. Он точно в сердце каждого из нас отдался. Это не трусость, нет. Это другое совсем. Это значит: „вот начинается, теперь сейчас будет... сейчас-сейчас!“

Кто-нибудь на турецких аванпостах угадал нас.

Минута молчания. Вот выстрел с другой уже стороны. И там, значит, почуяли. Слава Богу! наши не поддались соблазну начать беспорядочную стрельбу по невидимому во мгле неприятелю... не отвечают... Налево затрещало: там турки точно сослепу открыли огонь, по суетливости, беспорядочности и рассеянности, очевидно, они еще ничего не знают, только показалось им что-то, и они насторожились и давай треском и огнем взбадривать себя „на всякий случай“. Мы понимаем смысл этой нелепой трескотни. Читаем по ней о том, что делается в сердцах у защитников траншей. И солдаты понимают. „Ишь, всполохнулись, несуразные!“ — шепчет один около меня. „Пужаются сослепу!“ — сочувственно отзывается другой.

— Наши, должно быть, уж близко.

— Не видать.

Туман, точно завеса с неба между нами и идущими впереди.

— За мной, братцы!

Кто крикнул? Точно из чьей-то металлической груди вырвался полный захватывающего энтузиазма крик... „За мной, братцы!“ — должно быть, офицер, у охотников. Чу! точно вихрь, послышалось общее „ура“, подхваченное оглушающими громами неприятельских залпов, раскатами барабанов. Мы еще ничего не видим, но нас уже обдало горячим ливнем пуль. Первые стоны замерли в общем гуле атаки, незримой, и потому еще более зловещей.

Стрелковая цепь и охотники сделали свое дело.

Из передовых ложементов неприятель был выбит, но позади за ними еще стояли грозные траншеи... Теперь должна была начаться роль моих солдат, и, странное дело, в эту минуту во мне замерло личное чувство, боязнь за себя... Напротив, все, казалось, сосредоточилось на том, как бы наши не осрамились, как бы старая слава полка не погасла в эту зловещую и мгlistую ночь.

— Ваше благородие! — вдруг послышался около меня голос Токмакова. — Капитан приказали: извольте идти. Пора! надо подпереть цепь, — „урой" его взять. Здорово он за свои валы засел...

Пред нами был довольно таки крутой склон горы.

Я не помню, как взбежал туда; что-то в груди дрожало, что-то изнутри стремил меня вперед, не давая мысли ни на чем остановиться. Раз явилось сознание сделать это, что-то мешало отдельным идеям, опасениям, впечатлениям разбить это сознание, захватившее его с такой силой. Смутно рисуется мне до сих пор зрелище, явившееся вверху. Туман там не был так густ. По яркой линии огня, врывавшегося в эту мгlistую тьму, мы заметили, что в наступление перешли значительные силы врага. Пули со злобным шипением и чмоканьем уходили во влажную землю; жужжа, точно осы, носились у самых ушей, сливали свои разнообразные звуки с глухими стонами раненых и пронзительными воплями неприятельских таборов. Сотни гранат с зловещим визгом пролетали в высоте, вспыхивали и гасли бесчисленные созвездия шрапнелей, сея вокруг страдание и смерть; но странно, и эти стоны, и эти страдания, и смерть проходили точно стороной. Мы их не замечали, нам некогда было на них остановиться... Что-то более могучее росло в душе! Я не знаю, это ли называется боевым воспитанием, но я понял одно, что это именно и дает победу!

Мы все подвигались, как вдруг наши ряды наткнулись на приостановившихся стрелков.

Пред ними между наступающей сверху массой турок и нашими рядами теперь поднималось смутно что-то черное, неопределенное, пропадавшее во мраке налево и направо. Там, за этим *черным* слышался какой-то глухой шум, сверх этого *черного* вспыхивали багровые огоньки

выстрелов... Позади их взрывались крики: „Алла! Алла!" с резкими звуками чьей-то команды и меланхолическим пением турецких сигнальных рожков.

Пишешь это теперь, и кажется, что проходили часы, а все здесь совершалось мгновениями... разом укладывалось в памяти, и соображение работало с поразительной быстротой.

„Бруствер ихний!" — сообразил я.

— Теперь главное — не давать нашим стоять, а то назад побегут, — проговорил около нас командир, и вдруг звучно, весело, радостно крикнул: — Ну, ребята, пора кончать! С Богом! — и кинулся вперед.

Токмаков первый бросился за ним.

— Не дайте мне, старику, пропасть! — крикнул он, уже поднимаясь на бруствер. — Не выдавай, детки!

Оба быстро взбежали, и за ними темной массой бросилась наша рота, вся ошестинившаяся ружьями на перевес. Как потом оказалось, „дети", действительно, не выдали „старого фельдфебеля". Они сбили его с ног; даже так, что вместо того, чтобы напороться на штык турецкого аскера, Токмаков покатился по рыхлой земле вниз, и через него моментально пробежали десятки ног...

Старик долго не мог подняться... „Долго" это кажется теперь, а тогда все исчислялось мгновениями. Но когда ему удалось, наконец, выпрямиться, бой уже кипел пред ним, и он в вечернем мраке смутно различал только силуэты наших солдат.

Мгновения штыкового боя кратки.

Я до сих пор не могу дать себе отчета в том, что творилось в этом узком рву траншеи. Помню только, что, когда мы все опомнились, по сторонам корчились, умирающие впереди; с криками „аман-аман" бежали выбитые штыками защитники траншеи, а наши солдатики, тяжело дыша, сидели на банкетах бруствера, очевидно, не понимая еще, что сделано ими, и только отводя усталость и собираясь с новыми силами.

— Спасибо, молодцы! — крикнул ротный командир, обходящей теперь занятую траншею. — Чего с вами не сделаешь, невозможного дела нет! Ну, старик, поцелуй меня. Ты показал им сегодня, как должно солдату вести себя. Теперь нам бы отстоять здесь, пока подойдут наши.

— Отстоимся! Теперь ли не отстояться...

Не долго продолжался наш отдых.

Далеко-далеко, как нам показалось, послышались сначала смутные крики.

— Ну, теперь, ребята, в оба гляди, турки очнулись. Покажутся сейчас... Отбиваться надо.

— Отобьемся!

— То-то... Помолись и жди команды. А главное, без толку да без приказа не стрелять. На штык его встречай. Турка страсть нашего штыка терпеть не любит. Самое страшное ему дело - штык русский. Страшнее пули — куда! Пуля летит сослепу, еще наткнется ли! А штык тут вот сейчас. Насторожился и ждет.

Турецкие батареи уже заработали... Ахнули их стальные груди, и гранаты полетели по направлению к нашей нововзятой траншее. Очевидно, расстояние было отлично выверено у них, потому что снаряды зарывались под носом у нас, обдавая нас то железными осколками, то землей... „А, чтоб тебя!" — слышался порой недовольный крик заброшенного комьями слякоти солдата.

Линия турецкого огня близилась, пули, точно бесчисленные пчелиные рои сорвались из встревоженных ульев и неслись к нам навстречу. И то же жужжание, что у пчелиных роев и та же кажущаяся густота налета.

Турки подходили с громкими криками, точно ободряя самих себя, как дети, поющие в темноте. Некоторые из них, с нервными восклицаниями „Алла", выбегали вперед. Они не умеют приближаться тихо и при наступлении сами линией огня открывают свои силы. И теперь по этой линии мы могли определить, что на нас идут таборов пять, не меньше. Токмаков все время ходил за строем наших и повторял:

— Жди команды, ребята, не стреляй пока. Подойдут ближе, тогда мы их и ошпарим.

— Рота, пли! — резко прозвучала команда.

Убийственный залп прямо в лицо неприятеля. Минута молчания. Только щелкают экстракторы и слышен шорох заряжающих ружья. Ни один из солдат не выстрелил без команды. Командиры чувствуют, что вся часть в руках, что солдаты спокойны и выдержаны. Является уверенность за сегодняшнюю ночь. Позиция является за нами. Но неприятель тоже настойчив и стоек. Турки не приучили

нас к этому. Осман-паша, очевидно, сегодня послал против нас лучшие свои силы.

— Рота, пли, — вновь слышится, как и в первый раз.

Залп на еще более коротком расстоянии. „Алла, Алла!“ и стоны в близких уже рядах неприятеля. Опять щелканье экстракторов. Два залпа заставили приостановиться турок, но они быстро выравниваются и идут вперед.

Уже в нескольких десятках шагов от линии, уже видны дула их ружей, перебегающие фигуры их стрелков, при огне выстрелов различаешь их смуглые лица, озаряемые красным, точно кровавым блеском. Видны сплошные массы позади. Настанет минута, и рота, пожалуй, будет раздавлена этою громадною лавиной... Я оглядываюсь на своих, у всех лица точно прикованы туда, ружья на прицел, устья дул чуть шевелятся, очевидно, каждый следит за врагом и по мере их приближения переводит дуло. Несколько минут, и рота, пожалуй, не выдержала бы. Слишком уж не равны силы! Их десять против одного нашего! Пошатнись и отступи, и ни один солдат не будет живым.

Опять команда.

Залп в лица самые. В шумных лавинах смятение.

Такого ужаса не выдержали турки. Передние пошатнулись, ринулись назад, давят следующих за ними.

Трескотня выстрелов уже в спины бегущих.

Мы стойко сделали свое дело. Шумная лавина врагов низверглась вниз, слышен только треск от ломающейся соломы на кукурузных несжатых полянах да топот нескольких тысяч ног.

Теперь мы могли отдыхать... Позиция была наша.

Я гордился за свою часть. Она сегодня явила себя равною настоящим боевым, обстреленным солдатам. Ждать вражью атаку с ружьями на прицел и не поддаться соблазну выпустить хоть одну пулю, выдержать неприятеля (и какого многочисленного, сравнительно с нами!) прямо на себя, дать потом ряд таких убийственных залпов, последствия которых показали, что все эти серые люди стали спокойны и уверены, что каждый, не поддаваясь личному впечатлению, зорко и осторожно ожидал команды, это хоть бы и солдатам, в течение целого ряда лет и в сотнях битв окуренным пороховым дымом.

Токмаков тоже горел весь от счастья. Сегодня было его праздником. Рота оказалась такую же железною, как и прежде!..

Мрачное, сырое и туманное утро, сменившее тревожную ночь, застало нас в траншее, отбитой у турок.

Еще не раз они предпринимали атаки, чтобы отбить позицию, но недавний успех дал молодым солдатам веру в свои силы и убеждение в недостаточной стойкости неприятеля. Сегодня этих молодцов нельзя было узнать, они совсем иначе смотрели, говорили и держали себя, чем накануне. Между их прошлым и нынешним днем красною строкой прошли вчерашние боевые впечатления, удача, которой они одолжены были этою траншеей, свидетельницей их подвига.

Я встал на банкет её бруствера и засмотрелся вдаль.

Сначала туман позволил разглядеть сырые, темные поляны, поросшие неснятою кукурузой. Вся измокшая, к земле прибитая тяжелыми солдатскими ногами, шероховато, мочалинами лежала она у самой нашей траншеи: дальше на ней смутно обрисовывались во мгле тела убитых врагов. В этом призрачном освещении скупого и серого болгарского осеннего дня они едва-едва различались от гниющих порослей этих нив, оставленных работниками. Один турок особенно близко, храбрец, должно быть, чуть не до самой нашей траншеи добежал и, сраженный пулей в упор, ничком упал на землю. Феска свалилась, бритая голова точно блестит из-за кукурузы. А вон дальше из-за той же кукурузы только одно лицо видно, горбоносое, гололобое... Грозно в самое небо смотрят зоркие очи; должно быть, смерть застала его в минуту наибольшего боевого одушевления.

Когда я сошел вниз, очевидно, впечатления вчерашней ночи уже стали укладываться: после недавнего боевого оживления кругом было мертвое молчание.

Солдаты отдыхают. Устал оказалась только к полудню. Еще несколько времени назад хотелось смеяться, шутить, весело было сознавать себя живым и целым, так что утомления не чувствовалось еще; но теперь оно взяло свое... Шутки замерли сами собой; веселье, как огонек костра в сырую, мглистую ночь, мало-помалу погасло. Кое-где только, как дымок после него, начинала медленно и тихо

завязываться беседа, но и тут очень скоро она смолкала. Еще немного спустя, бодрствовали лишь часовые на банкетках, зорко следившие за таинственной далью, где в тумане должны были находиться редуты и укрепления неприятеля. Этим не надо было учить осторожности. Они сами не отводили глаз от мгlistых окрестностей. Вчера на настоящем деле все разом стали серьезными и свято исполняли свое дело. Тут уже не нужны были меры для поддержки дисциплины, расшатывающейся иногда в мирное время или на походе. Здесь она сама по себе была железною и лежала в сознании каждого. Все остальное, кроме часовых, скоро уже спало, назло холоду, назло мелкому, моросившему в самые лица дождю... Заснул и я.

Сколько времени я спал, не помню. Когда проснулся, было еще светло. День мало-помалу умирал в тумане и сырости этого осеннего, насквозь пронизывающего вечера. С турецких позиций нас тоже не тревожили. Готовились ли турки к новому штурму, только сегодня и часовые их стреляли лениво... Так редко, так лениво, что наши не обращали внимания на эти выстрелы. Изредка разве вырывалось у кого-нибудь: „Ишь балуется"! Когда секреты сменились, и люди, лежащие в них, вернулись к нам, я спросил, что делается у турок.

— Прихилились, точно и нет их. Что пес, нашкодил — и под лавку!

— Незаметно у них движения?

— Так утром еще лопотали по-своему, а теперь молчать.

Очевидно, и у них боевые впечатления улеглись, сменяясь усталю, апатией, почти мертвым равнодушием ко всему.